

Я БЫЛ свидетелем (конечно, только по телеку) почти всех заседаний Съезда народных депутатов. Это были действительно беспримечные дни. За долгую жизнь бывшего газетного репортера я повидал немало заседаний в Кремле. И вот что поразило меня на этот раз. Скажу вразбивку, вразброд.

Первое — это то, что министры и прочие высокопоставленные деятели государства не возникали пышно на сцене, усаживаясь под грохот оваций за стол на заранее определенные, согласно высотам их рангов, места, а размещались где-то сбоку, сверху, да еще так, что порой заслоняли друг друга.

Затем самое поведение депутатов в зале. Десятилетиями я приучен к терпеливо дождливому, равнодушному выражению их глаз. К их неподвижности, даже к некоей полудремоте.

А тут я увидел (пока, конечно, по телеку) действительно депутатов народа, горячих и озлобленных, готовых на самом деле, не только по статусу вмешаться в трудный ход государственных дел. Кстати, я решительно не согласен с теми, кого гневали выкрики с мест и разноречивой жаркой реакцией на речи ораторов. Это и есть истинный парламентаризм, он, конечно же, не в гранитном молчании. Каменность жестов, глаз и единодушия — всего этого мы достаточно повидали.

Споры, неоднозначность, полемика, достигающая иногда вершин настоящей бури, — именно это и необходимо нашему парламентаризму, а не безгласное сидение по рядам в ожидании обеденного перерыва.

И, наконец, удивил неожиданная для меня государственная, политическая, общественная уверенность и широта, настоящая убежденность, горячность и жгучая боль выступлений большинства депутатов. Сколько раз я читал о великом росте политического сознания широких народных масс, но, приученный смолчать к многим пустым словам, никогда взаправду не верил этому. И вот оно наглядно, на слух, прекрасно и неоспоримо. Без богослужений и самопохвал.

Хотя кое-что, если честно, еще сохранилось: вот, например, с какой былой поспешной готовностью депутаты, голосуя вслед за президиумом, порой поднимали мандаты, не без удивления и даже насмешки поглядывая на тех, кто голосовал против.

И все же есть, есть (и немало!) те, кто голосовал против. В том, что я видел, — удивительное смещение старых обычаев, жертвоприносительных ритуалов, вросших, вцепившихся, штампованных, с тем поразительным, искривленным, бурным, что являет собой демократия — не плакатная, настоящая, в запахах жизни и настоящих требований и нужд, только-только рождающаяся и пробившая себе путь в этот зал сквозь столько запретов, замков, колючих проволок, лесоповалов, несчастий, которые в силах был одолеть лишь народ, действительно устремленный в будущее.

Раньше власть боялась только вышестоящей власти. Отныне, остаемся в горячей надежде, она будет бояться народа.

Долгий путь! Я — очевидец немалого на этом пути. И есть у меня кое-какие заметки по этому поводу.

В НАШИ дни распространена и охотно плодится уверенность в том, что граждане тридцать седьмых и последующих лет не знали об ужасах Лубянки и концлагерей. Не знали о мучительствах и пытках.

Как человек, отмахавший наш век с начала и до исхода, могу заявить: это не так. Честно? Знаю. Еще честней? Нередко в подробностях, пожалуй, с искорочением тех, что казались невероятными.

Знали и говорили друг с другом об этом, добываясь порой даже к суждениям о Власти. Или во всяком случае к окрестностям власти. Но шепотом. То было время шепота. Артистизм шепота. Мастерство пришептывания. Оно еще ждет своих исследователей и расшифровщиков.

Ведь даже повязанное, упакованное, снабженное школярскими этикетками, обреченное на постоянное заикание искусство тех лет (нынче во многом сваленное на антресоли) освоило сложнейшее мастерство инкогнанизации, намеков, многозначений, когда читатель (зритель) видит сквозь призму знакомого и позволенного нечто такое, что совсем необычно и никак не разрешено. Оно просачивалось иной раз далеко за рамки того, что читателю (зрителю) допущено знать. Искусство (уж такова его суть) тянулось и в те времена туда, куда строгаише воспрещено тянуться. И даже, бывало, достигалось. Ну не совсем, но поближе. Где-то под боком. Рядом. Почти.

Это было смертельно опасно для автора. И приемы, и способы, какими искусство в те годы обтекало эту опасность, достойно глубокого изучения. Конечно, не менее пристального, нежели то, что отлучилось за рубежи и возвратилось теперь с триумфом на родные просторы.

В целом же это была пора горячо одобряемых и энергично вводимых в читателя мало-мало-мало романов и драм вперемежку с блистательными всплесками отдельных творений, с трудом процарапавшихся наружу. Пестрое, стопуловое, разношерстное время.

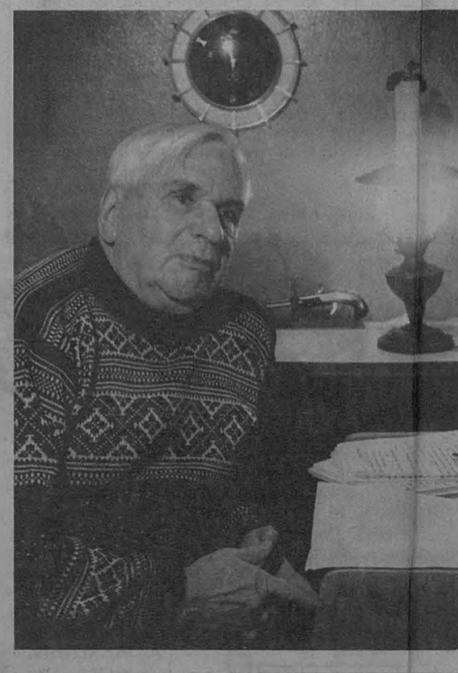
Именно то, когда обстоятельства привели меня к работе в кино.

И вот как близкий свидетель тех лет могу утверждать, что среди движущих сил Истории, установленных академиями наук, искусства и марксизма, выпала из академической видимости такая стержневая и даже решающая пружина, как страх. А ведь для прояснения стольких загадок, тайн, несуразиц непостижимой нашей жизни надо прежде всего уяснить себе все значение страха. Всеобщность, повальность его. Страх, который проник во все щели, брешь, суставы, руководил убеждениями, управ-

лял министерствами, контролировал буквы, чернила. Инструктировал речи, поучал генералов, заведовал дипломатами, прокурорами и работниками ЦК.

Это он научил беспримечный народ уменью притворяться, изображать добросовестность, имитировать правду, всегда, даже в шлепанцах, быть, как на сцене. С утра и до сна шел спектакль. Играли единство, покорность, аплодисменты, внимание к человеку, доброту, милосердие, благоденствие. Изображали восторг и счастье. Страх создал повадки начальствования, его неистовость, шутки, доклады, его покровительственную небрежность, тучность мыслей и животов. Не стало ни веры, ни дружбы, ни преданности без страха.

Да и теперь, коли спросят меня по совести назвать то, что препятствует перестройке, я бы (если сказать по-честному) первым номером назвал страх. Страх, как бы перестройка не зашла слишком всерьез, за пределы наснаженных мест и пламенных заявлений.



де бы придется рассчитывать самому. Своими монетами. Не государственными, а кровными. За безделье — кровными, за халатность — кровными. И даже за перекуры. Прежде, в застойные (счастливые) дни можно было всю жизнь играть в усердие, трудолюбие, добросовестность, перевыполнение. И играли спектакль, который длился годами. — от пропусков будок до вершащих кабинетов, внизу, вверх, сбоку. Всюду пестрели люди, которые знали кружение, правила, тонкости и слова этой игры. Уставы успехов и перевыполнений.

А теперь, и вправду, как кажется, надо выполнять. Действительно (не на общих собраниях) пережить, если плохо. Не приписывать. Жить без вранья и ретуши, своим риском, карманом, энергией, предпримчивостью. Отвечать за все. Ну с этим, братцы, надо приобщаться. Подмозговать. Особенно со своим карманом. Подмозгать в затылке.

Это во-вторых.

ваотся на любой галс по мановению тех, кто властен сегодня. Нужны личности. Смелые, энергичные, решительные, берущие на себя труд и ответственность, достижения и провалы. Те, кто отказывается дерзать, рисковать. Тот, кто осмелится сам себе постановлять. И постановив, выполнить.

Мы сделали вправду колесиками в работе, мыслях, вкусах, поступках, даже в дворцах для бракосочетаний. Всюду мы ждем указаний и с жадностью вглядываемся в передовицы газет — дана ли уже команда или пока еще нет? Мы как бы пункты похвального поведения в правилах уличного движения. А ведь все решительно, новое возникает вне правил. Поверх канонов. Иначе — глухое время, мертвый сезон.

Недаром уже и на перестройку напало немало прежнего: ложь, показуха, приписки, зазнайство и фальшь.

Массы были главным героем в нашем искусстве, когда я начинал работать в кино. Борьба

ухлопаны годы — те самые, когда активно, сбиваясь и спотыкаясь, трудились киношники моих лет. Пусть нам воздастся сполна за наши грехи, но не забывайте и то, что все-таки это мы прорвали безличность и обнаружили, что среди героических глыб дышит, радуется, мучается, вспыхивает, любит и помирает отдельный человек, который — плох он или хорош, враг или друг — все же самое сложное и удивительное и необъяснимое из всего, что существует на свете.

В последнее время это, пожалуй, уяснено. Открылась беспримечная эра. Все окна для искусства раскраски. И двери, конторы, подвалы, кладовки. Естественно, что первыми сквозь заслоны хлынули (и с огромным успехом) сюжеты о взятках, убийцах, ловкачах, проблемы и загадки секса. Надо ли насмехаться над этим успехом? Нимало. Он закономерен: прекрасно, что нас наконец перестали считать идиотами.

Но значит ли, что этим исчерпываются все те возможности для киноискусства, которые принесла перестройка? Следует ли экрану (кроме коммерческого) и дальше следовать этим путем? Я полагаю, все-таки нет, надо попридержаться. Разберемся. Долгие годы главным героем экрана была власть, даже если она оставалась за кадром. Безгрешная, мудрая, всегда побеждающая. Мое поколение в кино призвано было воспеть власть. Святость власти. Строгой, но справедливой. Ласковой, но карающей. И неизменно нелицеприятной и все налаживающей в завершение фильма. Без этого не могло существовать ни ленты, ни автора.

Задача искусства была ясна и неоспорима — восхваление государства, его святости, дальновидности, умение управлять, строить каналы, заводы, города, истреблять врагов, раскрывать вредителей, растить урожай, перedelывать человека. Отсюда простекала еще одна задача, свалившаяся на моих киносовершителей: показ положительного героя. Он назначен был существовать в каждом произведении, ибо якобы в жизни существовал везде. Все его видели. И повсюду.

И только художник, если не привирал, никак не мог его уцепить, поймать на перо и пленку. Он рождался бесцветным и недощенным, хотя роды происходили в самых стерильных, престижных родильных домах. Может быть, именно потому, что был положительным и как раз таким, как на нем настаивало начальство. А ведь истинно положительное являет собой далеко не одни достоинства. В нем познано-полю нестрогое, разноречивое, рытвин, рынков, колдобин, разладов, навалом нескладных (и часто необъяснимых) поступков и чувств. Но едва автор пытался не только что показать, но даже намекнуть на невнятность сумятицы и неполноту праведности тех, кто по правилам нашей поэтики назначен был быть примером, как без задержки следовало то, о чем вспоминать неохота. Между тем как раз именно эту неслаженность, беспокойствие, сомнения, нерешительность в положительном и следует показать искусству. Особенно в дни перестройки. Это будет и правдой, и современностью.

ИСКУССТВО времен перестройки — это, конечно, не только обилие сенсаций и разоблачений, но в основном и главным — пристальный, честный и умный анализ перерастания **безличного** в **личность**. От долгой спячки — к разбуженному общественному сознанию. Не сразу, не вдруг по приказу автора, жаждающего поспеть, не отстать. Нет, весь мучительный, отчаянный, порой провальный процесс этого прорастания. Ползком выбирается человек из безразличия, равнодушия, деревянной остылости, из Ничего. Долгий, отчаянный путь в новое, усыпанный объедками старых привычек и ритуалов. Люди по виду восторженные, однако почесывающие затылок. Это понятно: ведь знали мы (зато зубок) только истину маринованную, аспирированную, голую мыслью и воображением, фельдфебельскую единством. Сколько же неоглядного, безотчетного надо сейчас переломить в себе, чтобы стать гражданином.

Именно эту громаду того, что происходит сегодня в душе, повадках, словах советского человека, это соединение рынков и застылости, бега и спотыканий, этот нравственный поворот во всей его сложности, путанности, разноречия, подлаживаний, взлетов, притворства и надо раскрывать сегодняшнему экрану. Все глубже и глубже. Проникновенней и человечней. Пронзительней и острей.

Небывалый простор, беспримечная, дарованная судьбой художнику целна! Сюжеты бескрайних объемов!

Но именно их-то как раз оказалось непостижимым всего воплотить после стольких лет восторженной немoty. Впрочем, не слишком ли многого мы хотим от экрана? Поставим эксперимент: попробуйте — расскажите о нашем времени! Без шуток, уловок и треньканья. Все как есть. Попытайтесь.

Сужу по себе. Вот я пишу сейчас вещь о своем. И вот всю дорогу меня как бы кто-то держит за пальцы: нельзя, не пройдет.

— Пройдет! — говорю я себе. — Не те времена, сейчас все пройдет.

— Нет, не верю.

Не верят. Чему? Да многому. И тому, что прошлое позади. Что поднимается новое, неизбежное. Что нет и не будут снова визжать тормоза.

Да и сам я (если начистоту) не уверен. А вдруг крутанется? Что? Как? Не знаю, но вдруг? Ведь каждому надо столько в себе поменять: привычки, оценки, зрение, слух, походку, улыбки, изгибы души и изгибы спины.

А может, и самую душу.

Фото Е. Халдея.

Евгений Габрилович, Герой Социалистического Труда

ИЗГИБЫ ДУШИ И ИЗГИБЫ СПИНЫ

А в третьих, мы не учли, да и неполностью представляем себе до сих пор, какой силы пласт предстоит сломать перестройке.

Это вовсе не анемичный, малокровный слой командующих, начальствующих, раздающих чины и блага, — это гигантская сплоченность, спаянная, монолитная мощь со своими обычаями, владениями, связями, духовным и нравственным строем и даже с надежной и стойкой генетикой. С наложенной жизнью, привычками, с несметными ответвлениями, привратниками и поэтами. С непостижимой способностью притереться, приладиться к любым поворотам мысли, приказов, судьбы. Качнуться во славу Нового, возликовать, вознест тех, кто бегает за перемены, и снова в мигну качнуться всяцки, дабы расправиться с теми, кто бился.

Это самый могучий, упрямый и многоголовый разряд перестройки. С ним трудней всего справиться. Это глыба.

Сказать по-честному: перестройка исчислена до мелочей на бумаге, компьютерах экономически, политически, социально. Глухо, наспех, рассчитанным на глазок оказался лишь нравственный, психологический, внутренний путь от совместного, безымянного, множественного, не моего к моему, к тому, что в моем кармане. Мы вросли во всевластное государство, в его всевладение, в то, что оно отвечает за все. За колготки, следки и мир на земле. Оно знает, как тебе жить, работать, думать, относиться к семье, как вести себя дома, за станком и в служебном кругу. Знает, что истина и что ложь. Оно видит все, понимает все, а если и усомнится, то сколько вокруг доброты, что тут же подскажут!

И вдруг выясняется, что хозяин-то вовсе не государство, а я. Внезапно и страшно я должен решать все сам. Постановлять себе сам. И даже убытки по производству, продаже, снабжению принять на себя. И все неудачно сработанное отразится не в рапортичках и ведомостях, а на моей собственной шкуре.

— Нет, парни, так не пойдет! Давайте по-прежнему, по-государственному. Вы хлопните, увязывайте, ругайтесь, а мне зарплата положена — ее и подай: у нас социализм.

Я НЕ СОГЛАСЕН с высокими лицами, которые твердят, что все это у нас изменилось. Да, ступило, но пока недалеко. Тут же, рядом, плечом к плечу.

Вы скажете — это не так. Нет, это так. Я слишком многое повидал, чтобы не увидеть то, что мне хорошо знакомо.

Самое удивительное в истории моего времени — это привычка масс к поворотам, которые сопровождают их едва ли не всю жизнь. Но разве не доказал тот же наш век своей кровью и лагерьми, что эта легкость всего лишь видимость. Да ведь и массы — вовсе не то, что мы годами именовали массами. И восторгались монолитностью и единством их.

Массы — это слиняие, совмещение и оттачивание людей, каждый из которых есть необычность, неповторимость, **личность**. Перестройке нужны не глыбы, которые новорачи-

масс, невзгоды масс, гнев масс, ненависть и победы масс. Все остальное, личное, преобразованное искусством в **единичность**, неслладность, разброс, рубилось напрочь. «Жалкий мирок!» — говорили нам. И не только начальственные басы, тут были и баритоны, и теноры. Хором. Во всех инстанциях.

Наша борьба, битва нашего поколения в экранном искусстве, была схваткой за **отдельного человека**. За показ его не только в цехах и в победах, но и в семье, в заботах о пище и детях, в невзгодах любви, в грусти, сомнениях, во всем бесконечном, бескрайнем и скрытом от не слишком пристальных глаз. Во всем, что и есть человек.

Как это ни странно теперь, но это была дьявольская борьба. Безжалостная и отчаянная. Бессчетные множества **управлявших** и **руководивших** поднимали штыки всякий раз, как только автор, бледный от собственной смелости, отвлекался в любовь, поцелуй, личную грусть, частные душевтерзания, обхода производственные и мировые загвоздки. «Обывательщина!» — говорил редактор о поцелуях. «Мещанство!» — говорил он про грусть. И сколько бы автор ни бился, повествуя о произвительной силе печали, начальство выкидывало поцелуй и резаю грусть. Все это шло на полку. Легало долгие годы. Правда, как выяснилось, в довольно пристойном виде, охраненное от сырости и перепада температур.

И, конечно, немислима была лента, где упускалось значение партии. Хотя мельком, хоть мимолетом, партия должна была быть отражена. Я знавал фильмы, где, для того чтобы реализовать это требование, герой просто-напросто вне всякой связи с сюжетом и действием заходил в комнату, на дверях которой виднелась табличка: партком. Это считалось умеренным, но все же идейно достаточным: пусть парткомитет пройдет всего лишь табличкой, но он должен в картине существовать. Остаться в глазах и в ухе. Жизнь допускалась на экран, но только с партийным аккомпанементом.

Борьба моих киносовершителей в ее многострадальном течении состоит в том, что они первыми стали трепать этот катехизис, продирались к **личному**. К человеку, отдельно от масс. Впервые стало интересоваться экран (и чем дальше, тем все плотней) не только то, что делает человека поучительным и наглядным, а именно то, что отличает его, выводит из привычного, утвержденного и одобренного. Из гладкоокрашенного и типичного — в беспредельность.

Кстати, на мой скромный взгляд, искусство не должно заниматься типичным. Типичное для данного времени может быть обнаружено лишь на редких примерах, вдохновенно открыто. Все дальнейшее обычно, лишь варианты того, что открыто, — сперва живые, потом все более надоедливые, мертвешные, приехавшие и, наконец, обращающиеся в труп. В нечто задолбленное до одури. Вот тогда-то они и объявляются типичными. И охраняются караулом. Однако на то, чтобы утвердить эту истину,